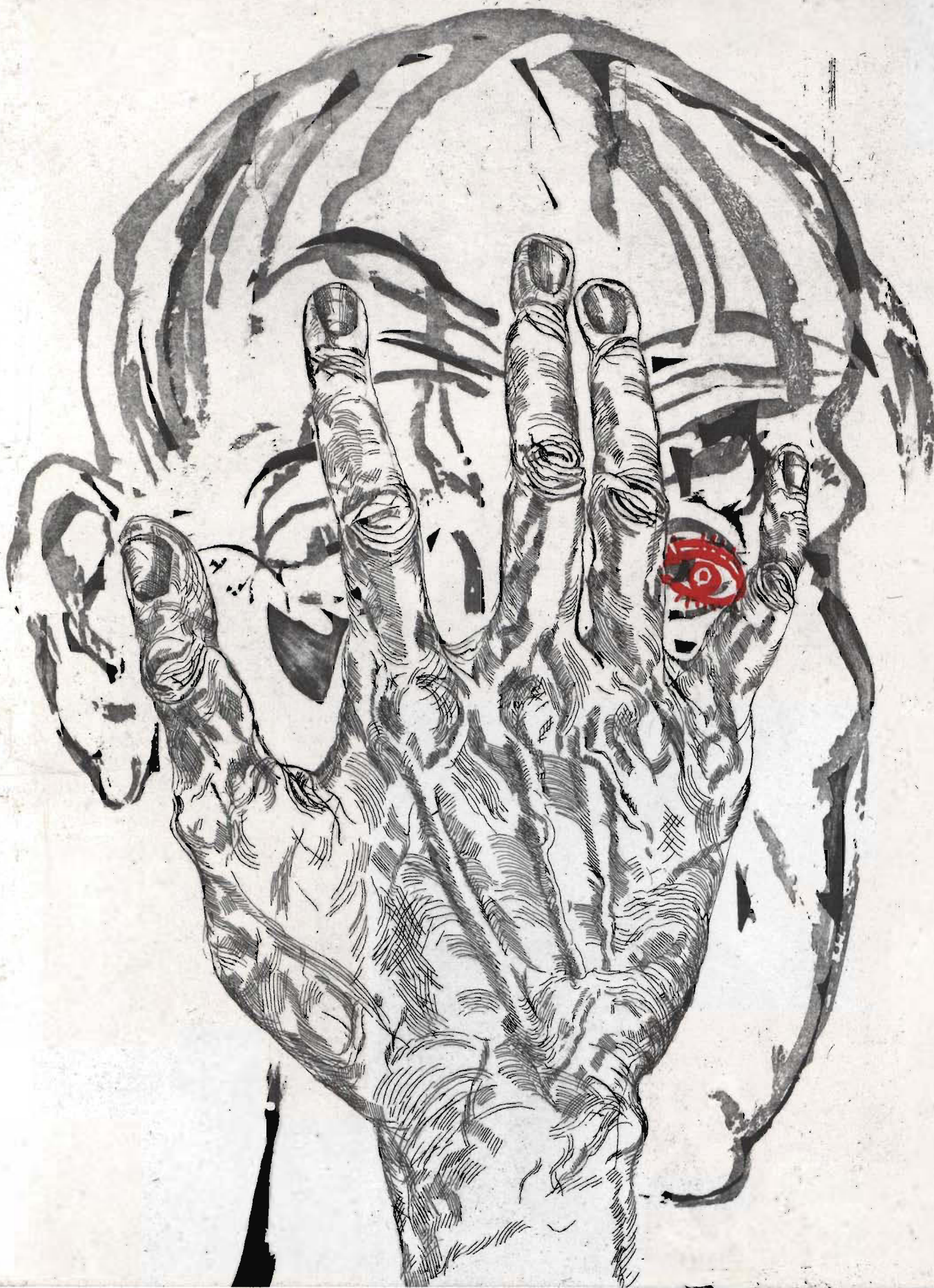


Пустырь. АТЛАС

максим кантор

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

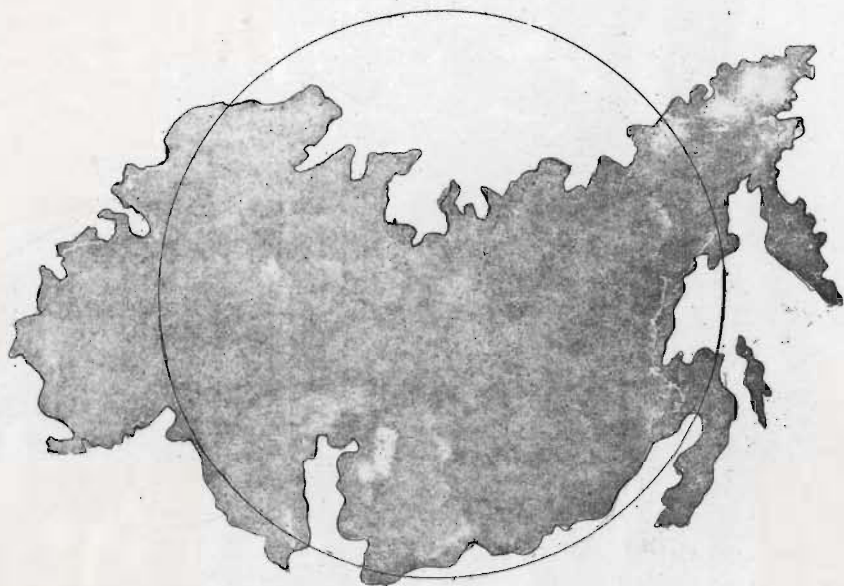
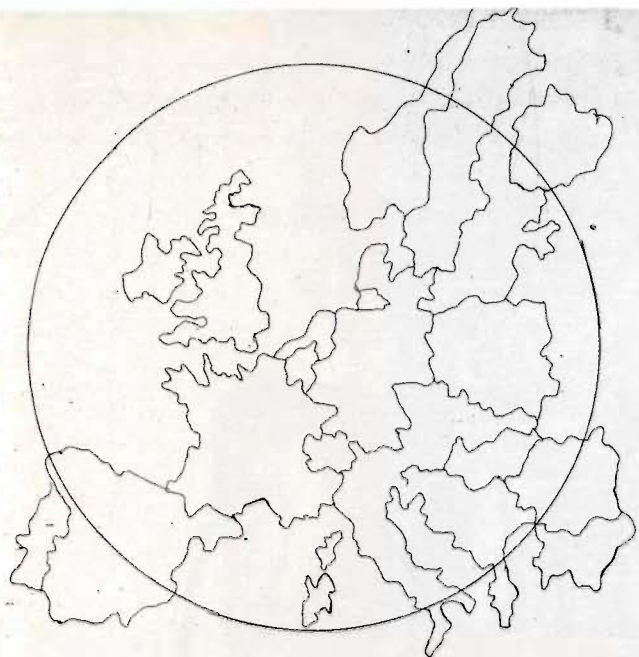
1. Взгляд на Родину сквозь пальцы



59/75

1 Взгляд на Родину сквозь пальцы МАКСИМ

2. Химера Евразии



3. Ecce Homo Russicus



59 175

3. Ecce Homo Russians

MAKUN

4. Государство



5. Город



75 5. ГОРОД

МАКСИМ

Любимая,

мне некому писать, кроме тебя — я растерял почти всех знакомых. Есть еще один человек, чье мнение дорого, но он далеко, и я не уверен, что сегодня мы поймем друг друга. Впрочем, даже выбирая из многих адресов, я написал бы только тебе.

Это любовное письмо, но оно покажется рассудочным. Действительно, я считаю любовь явлением рациональным. Взять хотя бы знаменитые любовные письма гусарского полковника из города мертвых; сначала кажется, что они дидактичны и совсем не лиричны, даже задаешься вопросом, с чего бы вдруг они адресованы женщине. Но иначе не может быть устроено любовное послание. Любви свойственно требовать всего сразу, приходится говорить обо всем. Он пишет женщине об истории, о религии, о родине; совокупность представлений обо всем этом и есть наиболее полное объяснение в любви. Вероятно, та же причина заставила флорентийца двигаться не прямо, но кругами — и самыми широкими кругами, порой уводящими от цели, но с лучшим обзором.

письмо первое

Есть еще причина географическая. Я часто жил на Западе и забывал пустыри своей родины, ее ватное небо, похожее на больничный халат. Всякий раз, глядя издалека, мне казалось, я вижу мираж, но едва я возвращался, миражем делался Запад. И совместить два эти пространства мне не удавалось никогда. Я понимал, что мое тело, мое сознание, то, что называется мною, должно стать таким местом, где два пространства соединятся. Ни одно из них не будет мнимым, но каждое дополнит другое, так, как это некогда было задумано. Оказалось, что моя субъективная цельность зависит от географии — от карты. Чем туманнее виделся Запад, чем расплывчатее представлялась Россия, тем менее реальным делался я сам. Только карта, последнее доказательство бытия русского человека, карта России — огромное, некрасивое пятно — и подтверждала, что все происходит на самом деле, что жизнь так нелепо устроена нарочно. Видение Софии — Прекрасной девы, любовные письма из города мертвых и прочие фантастические произведения моих соотечественников — порождение фантомного существования: из двух миражей соткался третий — и назвался русской идеей, русским космизмом и русской любовью. Я всю жизнь жил миражами — больше не хочу. У этого письма нет иной цели, как приблизиться к географической карте — по степени определенности. У этого письма нет другой цели, кроме как любовной, но любовное объяснение есть нахождение имени для себя самого. Для того, чтобы представиться, требуется обозначить свое место, а чтобы дать название месту, нужно его увидеть. Я хочу ясности.

При взгляде на карту мира заметен принцип подвижного равновесия, которое сохраняется между странами и народами вне зависимости от переноса границ. Существует гармония замысла — кому бы таковой не принадлежал: мировому

духу или геологическим процессам. По рисунку карты видно, как время и история сделали так, что вокруг сильного культурного поля, словно вокруг камня, брошенного в воду, расходятся концентрические круги — слабее, слабее и рассыпаясь в рябь. Вокруг народов Европы, определенных в своей исторической роли, примерно равновеликих по численности и размерам занимаемой площади, располагается пояс из территорий, оккупированных народами, чье население малочисленнее, а роль в истории скромнее. Затем следует и еще один пояс, огораживающий европейское пространство: границы здесь еще теснее, а народа еще меньше. Мало чем отличились эти народы в истории — вклад их в то, что мы называем европейской идеей (средиземноморской или атлантической — смотря какой аспект Европы рассматривать), невелик, но, словно питаясь энергией от внутренних кругов, эти народы полномочно представляют Европу. И неважно для данного рассуждения, какую Европу они представляют — империю Карла Великого или Цезаря или Фридриха. Заданная конструкция никак не мешает политическим изменениям, новым образованиям и перемене границ — будь то Австро-Венгрия, или Чехословакия, или Югославия, или — в прошлом — Бургундия, или — в будущем — объединенная Европа. Что с той политической картой, что с этой — основной принцип неизменен. Это закон сохранения культурного ядра (он столь же очевиден на картах Дальнего Востока и Азии), огражденного внутренним и внешним поясами. Эта структура позволяет при любых переменах сохранять центростремительные силы культурного организма, одновременно распределяет культурные валентности, по мере удаления от центра, держа их в динамическом равновесии. То, что такая структура присутствует, видно на любой карте. Этот рисунок похож на план римского лагеря или замка средневековья, — и как бы далеко не совершались вылазки — общий план остается неизменным.

Россия в этот рисунок не вписывается. Она находится за внешним кругом Европы, за поясом мелких государств и небольших племен, и при этом так необычайно огромна, что по массе перевешивает самое ядро Европейской конструкции. Пластически и конструктивно представить оба эти тела — т. е. Европу и Россию — как одно целое — невозможно. Россия и сама создавала вокруг себя защитный культурный пояс из украинцев, белорусов, мордвы, северных народов, кавказских племен. И внешний — из сербов, болгар, словаков и пр. В известном смысле чукча столь же полноправно представляет культурное тело России, как румын — Европы, чеченец так же точно воплощает Москву, как поляк — Париж.

Я не сторонник теории «серединной земли». Я вовсе не считаю, что евразийская равнина сулит блага, коих нет у океанических цивилизаций. Я лишь говорю, что каждое сильное культурное пространство на этой планете создает вокруг себя защитные пояса — и этим объясняется рисунок карты. Россия не входит ни в Европейское, ни в Азиатское пространство, но создает свое собственное. Привилегий здесь нет.

Это вопрос не исторического, не культурного, даже не географического, но геометрического свойства: как нечто может быть частью целого, если оно одно, взятое само по себе, больше этого целого во много раз?

Когда-то отец говорил мне, что с годами человеческое лицо делается картой жизни и души. На лицо смотришь, как на географическую карту: подобно тому, как линиями и пятнами обозначены реки и моря, морщины и складки лица рассказывают о мыслях и страстях. И чем определеннее мысли и яростней страсти, тем тверже черты. Есть лица, как изрытая траншеями земля, глядя на них, можно представить, какие здесь шли бои. Есть другие — они как карта пустыни, на них не происходит ничего. Есть лица, похожие на карту городской окраины, черты на них нанесены случайно, запомнить их трудно.

Сравнение лица с картой кажется мне убедительным потому, что по карте ищут дорогу, и если жизнь уподобить путешествию, надо глядеть на карту с отчетливыми линиями — чтобы не потеряться, но таких мало. Оглянись по сторонам — вокруг сплошь белые пятна. Даже и рассмотреть трудно лицо человека, бегущего по поручению, извертевшегося в попытке ухватить удачу. Не успеваешь на бегу обзавестись чертами лица. Так на картах изображают Гренландию — только по краям какой-то цвет, внутри — пусто.

Я люблю людей неторопливых, с твердыми чертами лица, а сегодня спокойное и ясное лицо встретишь редко. Есть лица прекрасные, как пейзажи Тосканы, светлые, как залив Средиземного моря, но твердые и ясные, как пустырь, покрытый снегом, такие лица я встречал редко. Не знаю лучше примера, чем лицо моей матери. Когда я был мал, ее широкое русское лицо не казалось мне особенно выразительным. С годами я стал ценить такие лица. В них нет выразительных черт и сладостной значительности, какие легко встретить в иных физиономиях. Странное дело, лица с резкими и яркими чертами я почти разлюбил — из-за избыточной патетики. Карте не требуется патетика — карта должна быть равнодушной, от того и величественной. С годами лицо матери закаменело: широкие скулы, короткий нос, сухой рот — она сделалась похожа на каменную бабу, в лице проступило что-то древнее, вероятно, монгольское.

Когда два лица рядом — отца и матери, я будто вижу две разных карты: Запад и Восток. И эти карты нарисованы по-разному. Карта Запада награвирована на меди, каждый штрих дрожит и звенит. Карта Востока отпечатана с деревянной доски — в степи нет подробностей. Карту Запада всегда рассматриваешь с волнением, заинтригованный — там нечто происходит. Но не так глядят на карту пустыря; это не ты, пустырь всматривается в тебя. Ты должен ему пригодиться.

Пустырь не надо понимать и разгадывать, в него надо просто смотреть, с той же тоскливой страстью, с какой пустырь глядит на тебя. Чем раньше ты поймешь,

что вы с ним одно, тем правильнее. Потому что однажды ты сольешься с этим пустырем воедино.

Оглянись на наш город, расплывшийся в пустырях. Он и не город вовсе, не похож на город. Город, как его привыкли знать в иных странах, это соединение многих волей, соревнование амбиций. Дома в таком городе рвутся вверх, отесняя друг друга, вырывая место у соседа, мансарда лепится над мансардой, труба лезет выше трубы: миллионы волей и миллионы судеб объединены в одном усилии — остаться в памяти. Этот совсем не такой, этот город — соединение миллиона безволий: здесь каждый старается спрятаться поглубже, да понадежнее. Зима длится здесь бесконечно, здесь ходят, завернувшись в тяжелые шубы, в огромных шапках, зарывшись в одежде. Здесь лица прячут свои черты в складках жира. Здесь человек прячется в компанию, чтобы убежать от партии. Этот город построен кольцами, и каждое кольцо запрыгнуто еще глубже и надежнее внутрь города. Карта города — карта распила дерева; обычно по древесным кольцам можно определить сколько дереву лет, здесь это не важно. Город лишен памяти, и не оттого, что хочет забыть о преступлениях и дряни, он хочет забыться, потому что только в забвении его свобода и покой. Миллионы страстей и жизней слились в одно усилие — затаиться и переждать. Кривые улицы, дома, присевшие на корточки, съезжившиеся дворы, — чтобы любить это место, надо испытывать страсть к игре в прятки. Тот, кто любит его, любит вечерние оранжевые окна, за которыми прячется жизнь, боясь появиться на улице. Город отвечает взаимностью только однажды — душераздирающей весной, которой не знает ни один город мира — потому что ни один город не прячет так глубоко свою волю к жизни. Это был великий город, столица страшного государства, его боялись, им пугали детей. Сегодня это окраина, пустырь, отмель.

Безумный русский поэт, объявивший себя Председателем Земного шара, считал землю России дном высохшего северного моря, а русских, соответственно, народом мореплавателей. Ему такой образ страны виделся романтическим и победительным, чем-то вроде картинок Билибина или Васнецова. Я же представляю совсем иную картину. Мне часто видится долгий берег, от которого вода ушла навсегда, и в сухой земле видны — до горизонта — забытые морем вещи. Откатившееся море — это чужая, красивая жизнь, не свойственная этой земле, и вот, когда море ушло, на песке остались странные предметы: фисгармонии, мольберты, фотографии в рамках, они лежат, полусасыпанные песком, вперемешку с мусором. А среди них, выгибаясь всем телом и корчась, ловят воздух ртом и тарачат глаза позабытые отливом люди. Смотри на карту, на эту уродливую кляксу России, другие страны обходят ее стороной, подобно тому как воды океана обтекают остров; я знал ученых людей, которые предлагали по этой причине — по причине того, что Россия не вписывается в нормальную сушу, — считать эту страну островом. Я не согласен с этим. Мне кажется, что отмель — совсем не свидетельство того, что где-то есть вода; мне представляется, что воды нет ни-

где, и отмель длится бесконечно, весь мир — отмель, разный набор предметов, найденных в песке, и составляет разницу культур. Рассказывают, что Эдгар Дега собирал (так, как иные собирают морские раковины) поскребки с палитры — остатки засохшей краски. Он складывал эти разноцветные чешуйки в различные коробки, он раздобыл засохшие краски с палитры Делакруа и наслаждался, разглядывая их. Эти засохшие чешуйки краски, разноцветные, бесполезные, величественные — разве это не лучшая иллюстрация моей мысли? Сказанное — всего лишь предположение, и основано оно на платоновской конструкции, принятой на веру.

Многое, однако, говорит за то, что мое предположение неверно, что мировой океан цивилизации в действительности существует, и его воды сегодня нахлынули на Россию, сомкнулись и скрыли ее, как некогда Атлантиду. Если и уцелело что-то, то лишь клочок суши — где-то далеко от мира, в заброшенном краю. Гул мира, шум мира не доносится сюда. Мы оставлены у линии прибоя, у кромки неизвестного чужого бытия, и на наш пустырь прилив выплескивает остатки чужой цивилизации: обноски чужих походов, обрывки чужих бесед и объедки чужих пиров.

Теперь, сказав так, скажу иначе.

Допустим, Россия представляет собой дно, — но не дно древнего моря, а дно в сакральном понимании, иными словами: место, противоположное горнему. Пониманию этого плоского пространства в низине, как ада, способствует и климат — здесь прохладно, иногда очень холодно. Сошлюсь также на Сведенборга, а именно на его утверждение, что и Рай, и Ад суть вещи земного происхождения. Добавлю к сказанному, что и Рай, и Ад — явления, внятно обозначенные географически. Я не вижу — как и в случае с концентрическими поясами культур, — специальной беды в том, что данное место скорее всего есть ад. Не вижу прежде всего потому, что не знаю, какие привилегии предоставляет рай. Я не вкладываю в название ничего драматического, как не вложу ничего патетического в утверждение того, что Америка скорее всего — рай. Я лишь рассуждаю о географии в религиозных категориях. Я лишь полагаю, что космогония явлена нам физической картой мира наглядно, космогония есть рефлексия на физическую карту мира, ее отражение.

Мне представляется, что опущенный в холодную низину центр Земли и являет собой последний, нижний круг холодного колодца, от него восхождение по Татам, Пиренеям и Альпам, по Тибету и Гималаям поднимает нас в чистилище Азии и Европы. Впрочем, спуск по амфитеатру возможен, не единожды этот путь уже проделал смертный, но возвращение — всякий раз подвиг. Сибирский лагерь страшен уже тем, что из него не убежать; помимо технических трудностей побега, заключенный понимает, что бежать некуда — вокруг одно и то же. Мы топ-

чемся по кругу, в нижнем ярусе амфитеатра, а, вероятнее всего, на самой арене. Выбраться в зрительный зал — заветная мечта жителя холодных равнин, но никак не осуществимая. Взгляд снизу вверх, с арены на амфитеатр, не это ли причина нашей обратной перспективы?

Отблеск холодного огня упал на нос алкаша, и на щеки красавицы, и на пролетарское знамя, и на краснокирпичные бараки. Мы все мечены этим красным клеймом. Кирпичные круги Москвы, сходящиеся к багровому острову Кремля и лужа портвейна на столе — одной природы. И если усомнишься, что мечен этим клеймом, достань из кармана свой красный паспорт.

Мы с тобой тоже носим это тавро. И, как все клейменные, тяготимся своей принадлежностью к стаду, а убежать не можем.

И пастух (впрочем, вожатый адского стада может носить и другое имя) в свою очередь тяготеет своим скотом. Людей в России много, и что делать с ними непонятно. Их уж и крестили, и в социализм определяли, а они все ни с места — какие были, такие и остались. Радикальным способом, еще не испытанным, было бы записать их всех в европейцы — и пусть выкручиваются, как хотят. Это очередная великая идея, посетившая державные умы — объявить свое население европейцами и повесить ответственность за их существование на Европу. Да и мужиков с бабами пора поучить — пусть усваивают азы демократии, прививают себе инстинкт частного собственника.

Правда трудновато привить инстинкт собственника там, где земля не родит, а не родит она на двух третях российской территории. Собственность на что? На суглинок? Тайгу? Вечную мерзлоту? Болото? Уж если народ позволил некогда оттеснить себя в эти бесплодные края, то нечего ждать, что нынче, когда монгольское и большевистское иго кончилось, распрямится он, да пойдет махать мотыгой. Никогда и никуда никто не пойдет. Прежде всего потому, что все равно ничего не вырастет — сколько раз пробовали. Во-вторых, потому, что народ привык выживать в этих условиях, а это главное. Нет нужды меняться. Русским правителям нравится быть европейцами. Ради этого готовы даже написать пару законов. Единственная помеха чудесным начинаниям — народ: куда бы его приткнуть? Поскольку он, подлец, желает коснеть в варварстве, придется перейти в цивилизацию отдельно Москвой и Петербургом, или даже например отдельно Кремлем. Проклятое противоречие Российской истории состоит в том, что азиатским населением хотят управлять на европейский лад. Это положение дел рождает так называемых «внутренних европейцев» — интеллигенцию, армию, чиновников, — т. е. службу правительства. Другим следствием является то, что сама власть, как инструмент насилия, должна стать — в своем персональном воплощении — азиатской, чтобы азиатское население ее воспринимало. Такая многослойная структура создает центроостремительную энергию российской

жизни; европейская обслуга ненавидит азиатское лицо власти, европейская власть презирает азиатский народ и своего азиатского лидера, народ же боится азиатского начала власти и ненавидит начало европейское. Русское общество делится не на классы, но на культуры, на квазиевропейцев и квазиазиатов; угнетая и убивая друг друга, они крутят беличье колесо Российской истории.

Сказанного, однако, недостаточно. Все обстоит еще хуже. Мы сталкиваемся с простой проблемой: надо ли считать русских — людьми? Или они недо-люди, полуфабрикат? Надо ли говорить, что это касается и нас с тобой? Что это прежде всего мы сами — ты и я — люди с кривой судьбой и неудачной биографией. Да люди ли они вообще, говорят, глядя на нас с тобой со стороны. Оснований для вопроса достаточно, но спросить обыкновенно стесняются: нельзя же так про весь народ — правда всегда отдает расизмом. Но мы сами знаем, как обстоит дело. Русский — существо никчемное. Он или ворует или пьет. Больше ничего не умеет, и если встречаешь трезвого русского: точно — вор; а встречаешь честного, — разумеется, пьяница. И то всего безотраднее, что ни украсть с толком, ни выпить со вкусом он тоже не может. Оглянуться не успеешь, — он или в тюрьме, или в бегах, или в гробу. Век русского человека короток и лишен смысла: выпьет, сколько сможет, — и на погост. Русский — он ведь ублюдок, беспородная дворняга, не монгол, не германец — так, кривоногая помесь.

Вот он поводит по сторонам мутным взглядом, шевелит губами, словно бы думает, — это он смотрит, где бы что украсть. Впрочем, крадет только то, что легко украсть; если украсть трудновато — связываться не станет, лучше напьется всякой мерзости и повалится, где стоит. Русский не знает, что такое красота, благо, цивилизация: случайно встреченное и яркое он хватает и, не понимая, во что вцепился, волочет к себе, в темную и сырую нору.

Это коряво сляпанное существо, с длинным вялым туловищем и неаккуратно пришитыми конечностями, без шеи, с маленькими глазками водянистого оттенка, толстой задницей и короткими ногами, с неопрятными манерами, с непривлекательной биографией и дурными родственниками, — и между тем это существо привыкло считать, что оно человек. Совсем как люди, оно страдает от холода и голода, мучается от жажды, оно истекает кровью, если его режут, и плачет, когда теряет своих детей. Это существо, конечно, не заслуживает снисхождения, но, так же, как и люди, оно будет мучиться и цепляться за жизнь, когда его станут убивать. Оно по непонятной причине хочет блага своему потомству, хотя и не в силах осмыслить — какого же именно блага. Оно выло от горя, когда его и ему подобных сгоняли в лагеря и закапывали живыми в землю, оно сопротивлялось, когда жгли его неприглядное жилье, оно защищало свою жизнь, когда его убивали — а убивали, надо отметить, по вполне рациональной причине: потому что больше ничего не сделаешь с этим ублюдком — разве что пустить на полевые работы. Оно, это существо, не ценя свою жизнь (да и что там ценно-

го?), способно на жертвенные поступки, оно вдруг совершает такое, что, говорили о другой породе, назвали бы величественным. Оно бессмысленно и беззаветно предано себе подобным, оно может безропотно служить и бесконечно ждать — но не становится от этого привлекательнее.

И что прикажешь делать до тех пор, пока эта никчемная популяция еще не перебита, не перевоспитана, не загнана в положенные резервации? В просвещенных умах зреет мысль: цивилизовать, ввести «в историю», используя здесь гегелевско-чаадаевскую риторику. Но при всех проектах следует исходить из смертности субъекта: жизнь дворянги скоротечна — не успеешь его цивилизовать, а он взял, да и помер. Любые масштабные преобразования сталкивались с этой досадной деталью. Петровско-ленинские проекты всем хороши, плохи, пожалуй, только люди, в них используемые. Главная помеха для истории — человек. Прикажешь жалеть его? Назвать его жизнь трагической?

Трагедия — это дело воображения. Так называемый простой народ, не наделенный способностью к рефлексии, не в состоянии обозначить свои неприятности, как трагедию. Так и мрут, дурни, не узнав, что могли переживать с патетикой. Так почему же, спрошу я, почему же интеллигент не применяет свою способность превращать беду в трагедию — к бедам других? Ведь с ним самим ничего реального не происходит — у него не горят дома, не мрут от голода дети. Иначе формулируя: непременно ли трагедия происходит внутри субъекта или она объективна? Или по-другому: может ли быть рассмотрен как субъект трагического сознания сам мировой дух, по отношению к которому все несчастья равноудалены? И если да, то значит трагедия есть понятие онтологическое, она присутствует всегда, и интеллигент существует лишь затем, чтобы выразить ее. Он нужен миру, как плакальщик на похоронах, в сущности, он больше ни на что не годен. Ошибочно полагать, будто он субъект трагедии сам по себе.

То, что один интеллигент не вполне понимает другого, это не трагедия, — это комедия. Потому что понимать особенно нечего. Мысли, опыт, убеждения у обоих примерно одинаковые — рознятся амбиции. Поэт и толпа — это тоже комедия, противоречия меж ними выдуманные. Трагическими поэты становятся тогда, когда принуждены делить судьбу толпы, той самой, которую всю жизнь презирали.

Трагедия — это нечто иное. Это одиночество подлинное, а не мнимое, это несчастные, оставленные без помощи, это беззащитные перед лицом нищеты, это одинокие без надежды, это больные и старые без опеки, это калеки не опознанные, как субъекты трагедии. Неузнанные в качестве героев трагедии, именно они ее и воплощают. Не одиночество в толпе, но одинокая толпа, — вот кто является действительным субъектом трагедии.

Но ведь рассказать об этом ей некому, да и не умеет она говорить.

Мы ведь от рождения безъязыки, общаемся меж собой на недоступном миру языке, словно глухонемые. И, сколь бы ни был этот язык красив, он оставляет равнодушной ту часть человечества, понимания которой мы алчем. Как ребенок к взрослому, мы обращаемся к миру с агуканьем, а он умиленно гладит нас по голове, ничего не понимая. Это невнятное бормотанье, эта невразумительная речь в ушах мира звучат загадочной музыкой, жалобы, доносящиеся отсюда, с окраины, кажутся загадочными и прекрасными.

Зачем я рассказываю это? Я всего лишь хочу определить наше существование. Это не трагедия, нет. Это просто жизнь на окраине, в странном доме. Разве не ясно было с самого начала, что это — мертвый дом, Некрополис, и судьба у него будет мертвой? Что же делать теперь, когда у нас нет и не было другого дома, кроме этого? И я спрашиваю: почему моя и твоя любовь зависит от бессмысленного места, от нежеланной родни? И какое отношение это имеет к тому, что я не хочу видеть другой карты, кроме твоего лица, другой земли, кроме твоего тела?

Почему не получилось просто любить, почему не получилось прожить вместе простую и ясную жизнь, почему чувства я ставил в зависимость от географии и социального строя? Разве нельзя было иначе? Неужели ничего не поправить?

оглавление

1. Взгляд на Родину сквозь пальцы	5
2. Химера Евразии	7
3. Ессе Homo Russicus	9
4. Государство	11
5. Город	13
6. Красный дом	15
7. Одинокая толпа	17
8. Каждый за себя	19
9. Портрет отца	21
10. Неверный свет	23
11. Русский сфинкс	25
12. Портрет матери и старуха	27
13. Мясорубка и фарш	29
14. Родители, прохожий и Карл Маркс	31
15. Крысоловка	33
16. Бесконечный тоннель	35
17. Автопортрет с красным домом	37
18. Прогулка	39
19. Мокрые ботинки и батарея	41
20. Постель в палате № 7	43
21. Пальто и пижама	45
22. История болезни	47
23. Пациенты	49
24. Бегония и красные псы	51
25. Женщина и дом с красными окнами	53
26. Свекла	55
27. Красные птицы	57
28. Пара на пустыре	59
29. Родители и дети	61
30. Женщина и бродяга	63
31. Утро в чужом доме	65
32. Красное вино	67
33. Мужчины и женщины	69
34. Друг и его друзья	71
35. Красные от ярости лица	73
36. Смерть в подъезде	75
37. Курящий мужчина	77
38. Могильщики и красное солнце	79
39. Трезвый и пьяный	81
40. Старухи и собаки	83
41. Татуировка	85

42. Женщина и горящее дерево	87
43. Бедные люди	89
44. Красные ирисы	91
45. Совок и веник	93
46. Сон под красным одеялом	95
47. Нестранствующие комедианты	97
48. Зал ожидания	99
49. Объявки	101
50. Правительство готовит реформы	103
51. Европа и Россия	105
52. Трагедия интеллигента	107
53. Славянофил, западник и евразиец	109
54. Парламентские дебаты	111
55. Смена элит; новые игрушки	113
56. Рынок и дворняга	115
57. Пададь	117
58. Теперь ты!	119
59. Россия в образе Сатурна	121
60. Реквием террористу	123
61. Мертвые хватают живых	125
62. Рубаха в красную клетку	127
63. Взрыв	129
64. Дом и дерево	131
65. Небо над пустырем	133
66. Утопающие в снегу	135
67. Колесо истории	137
68. Братья	139
69. Красное и черное	141
70. Красный свет	143

письма

письмо первое	147
письмо второе	156
письмо третье	168
письмо четвертое	175
письмо пятое	186
письмо шестое	195
письмо седьмое	208

Максим Карлович Кантор

ПУСТЫРЬ. АТЛАС

К 19 **Кантор М. К.**

Пустырь. Атлас. — Языки славянской культуры, 2001. — 216 с.: ил.

ISBN 5-94457-017-2

Книга художника Максима Кантора находится на пересечении жанров: автор представляет графическую серию, посвященную стране и истории, и серию писем, адресованных европейскому другу и любимой женщине. «Пустырь. Атлас» — это и любовный роман, и философское эссе, и метафорический атлас России, в котором изображения выполняют функцию карт, а письма — комментарии к ним. Славянофилы и западники, понятие «авангард», перспективы России, западные идеалы — автор рассматривает эти темы в непривычном ракурсе.

ББК 85.103(2)6

© М. К. Кантор, 2001

Издатель А. Кошелев

Корректор Е. И. Власова

Оригинал-макет подготовлен Г. Г. Покатовичем

Подписано в печать 15.08.2001. Формат 70х100 1/8.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная.

Усл. изд. л. 70. Заказ №

*Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
95300 — книги, брошюры*

Издательство «Языки славянской культуры».

129345, Москва, Оборонная, 6-105; № 02745 от 04.10.2000.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru

Каталог в Интернете <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано в ГУП «Экспериментальная типография».
103051, г. Москва, Цветной бульвар, д.30

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».

Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6. (Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

Foreign customers may order this publication by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).